

ПЕРВЫЕ РАЗГОВОРЫ

/пер. спольского В.К./

"Диалоги с Советами" Станислава Бинценза (книга вышла в Лондоне в 1966 году и перепечатывалась в Польше неофициальными издательствами) описывают в форме эссе, перемежающихся с мемуарами, события в начале войны, участником которых был автор. После того, как советская армия 17 сентября 1939 года вступила в восточные земли Польской Речи Посполитой, Бинценз переправился через Татарское Ущелье в Венгрию, но позже, однако, беспокоясь о судьбе родственников, вернулся в Румынскую Слободу на Буковине. Там его арестовали, многократно подвергали допросу. Когда писателя, наконец, выпустили из тюрьмы, он жил еще какое-то время в родном доме, а затем в 1940 году перешел через "зеленую границу" в Венгрию, где и находился до самого конца войны, по завершении которой переселился во Францию. В нижепредлагаемом отрывке описываются переживания и впечатления автора сразу же после ареста.

Мы шли вслед за сержантом, державшим автомат английского типа на изготовку, за нами шли солдаты — тоже с оружием в бревной готовности. В какой-то момент, уже после того, как мы миновали склонную села над Черемшем, я, захотев есть, вынул из кармана кусок хлеба. Сержант подошел ко мне и сказал: "Сейчас, когда мы проходим по деревне, вам не стоит есть, а то вы будто даете знать людям, что мы вас голodom морим".

Я согласился и убрал хлеб, оставляя его на постое, поражаясь при этом однотипности и виноватости пропаганды. А все-таки, как знать, может и прав сержант, как раз было воскресенье и по пути мы встречали сбывающихся в немалые группы крестьян, среди которых спадались и знакомые. Наткнувшись на одного соседа, мы своим видом так поразили его, что он аж рот открыл и уронил трость. Чуть позднее мы беседовали между собой другие сбывающиеся в кучку крестьяне, один из которых сткликнулся на приближение нашей процессии веселым взаимным: "Глядите, спать кого-то поймали, никак генерал, а может, староста". Но когда мы подошли поближе, крестьяне, похоже, узнали меня, — по крайней мере, сми сразу же замолкли, лишь постухоньку шепча что-то друг другу время от времени. Наверное, впечатление, произведенное на них зрелищем знакомых людей под конвоем, было тягостным.

Еще до обеда, пройдя каких-нибудь двенадцать километров, мы добрались до гуцульского музея, — это было просторное здание с прочными стенами, в котором разместилась рота пограничников. Из здания выбежало множество солдат, рассматривавших нас и улыбающихся, но не выражавших никакой враждебности. Разместили нас в канцелярии, которая одновременно служила помещением для стражи, и сразу же принесли удобные постели и неплохой обед. Днем канцелярия почти все время пустовала, потому что в нее почти никто не заходил, и в это время тут хозяйничал, время от времени отлучаясь, молодой солдат, шатен субтильной конституции с то ли румяным, то ли легко краснеющим лицом. Родом он был с далекого Севера, а в канцелярии выполнял обязанности у четчика и рисовальщика. Он очень старался, целыми днями писал

и перерисовывал какие-то карты и планы. Про себя мы его называли "писарчуком". Несмотря на то, что нам запретили разговоры, со временем мы все же стали беседовать с ним, особенно потому, что нам он казался приятнее всех прочих, так как несмотря на то, что он производил впечатление молчуна, он больше других занимался нами и даже, можно сказать, заботился о нас.

Тем временем у нас незамедлительно у нас появился свидетельства того, что в деревне, вне стен, наши знакомые о нас не забывали. Только мы оказались в музее, как сразу же стали приходить какие-то люди, крутившиеся непосредственно, они спрашивали о нас, беспокоились о нас. Как-то раз, незнакомый мне пожилой холмичин, не знаю уж, какой псевд выдумав, — ведь стража не выпускала штатских, — просочился в канцелярию, чтобы увидеть нас своими глазами.....

В канцелярии у нас было много случаев, дающих возможность для бесед не только с "писарчуком", но и с схраниками, замечавшими его в те моменты, когда ему приходилось покидать канцелярию. Чаще всего, такие беседы случались вечерами, когда канцелярия наполнялась народом, потому что командир и сержанты приходили за почтой. Тогда они задерживались, оживлялись, спрашивали нас, так что канцелярия становилась довольно-таки шумным залом собеседований.

Любопытно было наблюдать, как все они нетерпеливо ждали писем и с какой жадностью они их читали. Письма приходили преимущественно от семей, остававшихся на родине, ведь через два месяца, если не позже, семьям командиров и политруков было разрешено переехать на постоянное место жительства в пункты размещения военных частей, в которых служили главы этих семей (...).

Исходя из собственных наблюдений, я пришел к умозаключению, что, пожалуй, нигде, кроме России, семья не заполняет жизнь человека до такой степени, — не в смысле количества времени, проводимого в семье, конечно, но с точки зрения интенсивности привязанности. Ввиду ограничений, наложенных на общественную жизнь, из-за которых ей приходится перемещаться по заранее определенным путям, по неизменным рельсам, а главным образом потому, что в политике и за пределами жизни в семье человек связан рамками новейшего политического курса, требующего единомышленников, вследствие чего советские граждане только в семье на-

ходят последнее прибежище искренних, безыскусных и человеческих отношений.

Одним из первых офицеров, на которого мы обратили внимание, был, как с тем мы узнали какое-то время спустя, молодой, только что призванный на службу ветеринар. Когда солдат, раздававший письма, назвал его фамилию, он, получив письмо, полностью погрузился в чтение. Но фамилия его была нам хорошо знакома, это была фамилия недавно умершего польского композитора. Еще раньше мой сын шепотом говорил мне, что этот командир похож на поляка, а теперь, когда офицер закончил чтение письма, мой сын подошел к нему и спросил, не поляк ли тот. Вероятно, спрашивать о том было неуместно, — этот мало похожий на военного ветеринара, замахал ресницами и завертел головой, тихим голосом убеждая нас в том, что он — украинец. Затем, будто желая сгладить впечатление, разговорился с нами, объясняя по-русски, что его мобилизовали совсем недавно, а семья — там, на Украине, ну да, все это немного печально, но что поделаешь — надо. Другие политруки и командиры заинтересовались нами по собственной инициативе. Особенно один, низкий, приземистый, — он узнал от работницы почты в Лабье, что я — доктор философии. Подойдя ко мне, он спросил, на какую тему у меня была диссертация. У него было все время меняющееся выражение лица. То он казался благожелательным и проявляющим интерес, то его лицо становилось недоверчивым и как бы обиженным. Я сказал ему, что написал работу о Гегеле. — Ах, — сказал политрук, — наш Ленин тоже писал о Гегеле, так вот, по Ленину — Гегель — идеалист, а у вас что вышло? — Я отвечал уклончиво. (...).

Он то хмурился, то опять его лицо светлело. Наконец, он стал поучать меня, вполне, впрочем, доброжелательно, растолковывая мне, сколь легкомыслен я был, путешествуя ночью. Я объяснял, что осенью ночь наступает раньше и что мне трудно избавиться от своих мирных привычек, в том числе от прогулок по лесу. Политрук надулся и, в конце концов, закончил предостережением: "Теперь пришел конец тем, что шляются по ночам: теперь, чуть что — пуля". Однако, позже, в тот же вечер, он понемногу отошел, просветлев лицом и, наконец, рассказал о себе, причем, вполне искренне. Аязъ у него была тяжелая, он работал настухом,

бедствовал, пока, наконец, не дошел до своего нынешнего положения. Он завершил свое повествование выводом, произнесенным расстрельным голосом, и гласившим, что всё, чего он добился, стало возможным только благодаря Советскому Союзу. Как это ни печально, но именно этот политрук сам пал жертвой дисциплины, наложенной им среди солдат подчиненного ему взвода: исчез эти солдаты застрелили его. Несчастный случай этот объясняли тем, что охранники его не узнали, но другие говорили, что солдаты отплатили ему за слишком горячее стремление внедрить дисциплину.

В тот же вечер, в канцелярии, я видел и политрука Ковалья, того самого, который допрашивал меня и составлял протокол задержания. Я спросил у него, какие надежды у нас на скорое освобождение? Тот свысока усмехнулся: "А что, вам здесь разве плохо? Что вас здесь обзывают, бывают?" Будучи умнее остальных, Коваль отличался высокомерием и держался отчужденно, показывая свое присоединение в некие тайны. Совершенно недоступный, словно избегающий бесед, хотя и державшийся вполне корректно, он командовал ротой и был тем самым командиром, который допрашивал и сбрасывал нас на месте ареста. Коваль – русский, но родился в Польше и был женат на польке из Ченстоховы. С ней я познакомился много позже, она говорила только по-русски и с иронией вспоминала, что когда-то ходила в монастырь в Ченстохове молиться и становиться на колени. (...).

Но больше всего впечатлений в том, что касается обмена мнений, доставил нам молоденький комсомолец, щекастый, достаточно смуглый парень, откорректированный и при этом неизменно надутый. Изначально он тоже, как и я, полагалось по правилам, глазел на нас, но дело в том, что ему хотелось похвалиться не только тем, какой он замечательный служака, но и тем, насколько он идеен. Он сам вызвал меня на разговор, рассказывая, что по идейным соображениям он добровольно вызвался агитировать местное население, а сюда он явился, чтобы организовать выборы, которые назначены на ближайшие дни. "Подумайте только, – говорил он по-русски, с пафосом и растроганно, – впервые в истории Советский Союз дает этому бедному, угнетавшемуся населению такую великую счастливую возможность. Они голосуют впервые. Так что хоть и нелегко с ними договориться, но мы делаем все, что в наших силах".

Я попытался было вставить, что здешнее население голосует с 1868 года, а с 1908 года проводится только равное, всеобщее и тайное голосование и при этом за того кандидата, за которого избиратели желают голосовать, к тому же в 1922 году право голоса получили и женщины. Я мог бы еще добавить, что и в нашей стране случались различные формы злоупотреблений выборами, что хватало местных жульничеств — подкуп колбасой и водкой, — но зачастую, злоухищрения на выборах бывали весьма хитроумными, но вот такого, как на этот раз еще никогда не бывало: чтобы людям собирались всучить готовые отпечатанные карточки, вдававок, на кандидатов только одной партии. Но комсомолец не слушал, отвернулся к окну. (...).

Не оставалось ничего иного, как сменить тему беседы. Мы поговорили с местном населении, с здешнем народе — с гуцулах. Комсомолец незамедлительно и серьезно сделал мне замечание: мол, нельзя — так, как это делаю я — называть местных людей гуцулами, так как это "насмешливо и презрительно"^{x)}. Ведь эти люди — украинцы, и о том нам надлежит помнить. Я отвечал, что мне это уже давно известно, но мы пока что говорим не о тех людях, которые живут на Днепре или Кубани, но об сбитателях берегов Черемоша. Я вспомнил о том, что, например, на Кавказе или в разных местах России в обиходе пользуются самыми разнообразными названиями и самоназваниями родов и племен. А слово "гуцул" вовсе не оскорбительно, напротив, современные гуцулы нередко гордятся этим именем, даже чрезмерно. Соглашаясь, комсомолец вдруг повернул на 180°, презрительно скривился и сказал: "Гордятся, но до чего же отсталый народ, никакой культуры! Все эти ихние наряды, шествия какие-то, а язык этот причудливый — для нас все это просто смешно. У нас нет ничего подобного!"

Мне надоело хвастовство этого гордца, и я решил заманить его в ловушку, хотя бы для собственного удовольствия. Поэтому я сказал ему примерно следующее: "Похоже, вы правы, они и в самом деле стстальные. Вот, послушайте, что произошло однажды. У гуцлов есть есть обычай устраивать любопытные обряды над покойниками и организовывать торжественные процесии во время похорон, ну, это просто театр, хотя они, конечно, очень привя-

^{x)} написано латинскими буквами по-русски. — пер.

заны к этим обычаям и очень серьезно относятся к ним. И, представьте себе, как-то приехала комиссия из варшавского музея специально для того, чтобы снять фильм об этих обрядах. И ничего не вышло, они не согласились, да еще и обиделись. Что вы об этом скажете?" Комсомолец слегка оживился: "Ну, а пустом? Как, убедили их, приказали им?" - "А кто бы мог им приказать? - отвечал я, - не захотели, и всё. А как их убедишь? Они и слушать не хотели, ведь обряд религиозный, а здесь - свобода вероисповедания. А интересный фильм получился бы, правда?" Комсомолец по-прежнему, важно декламировал: "Это - очень полезно, очень нужно, обязательно следует снимать такие вещи на кинопленку - для музея, ради науки, ради культуры! Но народ этот - отсталый, совсем некультурный! А власти?! Тьфу! У нас бы такого не позволили!" Я его утешал, на самом деле продолжая заманивать комсомольца в ловушку: "Хорошо, по крайней мере, уже то, что засняты на кинопленку и приняты на хранение их церковные праздники и праздничные костюмы, правда?" - "Ну, конечно, так и надо, для культуры, для науки, для музея. У нас всё для культуры." А я продолжал добиваться своего: "Ну, так получается, что все-таки есть какая-то польза для культуры от этих некультурных гуцулов, ведь их хотя бы можно снять на кинопленку?" Комсомолец зевал: "Где там! Такой отсталый народ!"^{x)} Но мы их перевоспитаем, мы, идеальные комсомольцы и советская власть, - это наш священный долг". Должен признаться, что трудно мне было настыться столь ценным признанием, и я продолжал допытываться: "Скажите тогда, какими сми станут? Что с ними будет? Всё - в музей: костюмы их, обычай и весь уклад их жизни? Или как-то по-другому?" Комсомолец опять, зевая, отмахивался: "Ценное - в музей, а остальное - прочь!" - "А им что делать?" - "Какие вопросы!? Работать будут, культурно трудиться под нашим руководством, пока не станут такими, как мы." Комсомолец был безнадежно непробиваем. Этот малый уже выбился в начальство и ничто было не в силах его поколебать, разве что чистка. (...).

Между тем, "писарчук" по собственной инициативе узнавал все слухи и сплетни с нас и сообщал нам все новости. Поначалу, когда еще не было ведомо наше будущее, он как-то сказал, мягко

^{X)} написано в тексте оригинала по-русски.

улыбаясь: "Да отпустят вас, выпустят, вы только кончайте с этими прогулками, перестаньте слоняться по ночам, не то подстрелят вас как-нибудь". Как это ни печально, но предсказание нашего освобождения не сбылось, потому что однажды нам раненько, в самое утро, было велено собираться. "Писарчук" явился в явно угнетенном состоянии духа, сказал, махнув рукой: "Кичего не поделаешь, придется вам поработать".

Всё происшедшее позже в то время еще не было мне ясно. Я не понимал, почему нас довольно-таки долго держали в Лабьем, не отпуская, не понимал я тогда ни жеста, ни смысла слов "писарчука" - не знал я, почему надо грустить по поводу нашего переезда в другое, более удаленное место. Совсем уж непонятно было значение фразы: "придется вам потрудиться", и неясно, почему эти слова были сказаны таким траурным тоном. Позднее, я сообразил, что вероятно, руководству батальона в Надворном предлагали нас освободить на основе показаний и ручательств местного населения, чем и сбъясились надежды "писарчука". А отрицательное решение поступило, наверное, по телефону, ведь нас с такой поспешностью отправили из гуцульского музея.

Известный историк Зелия Халеви писал: "По пересечении границы России возникает несопроводимое впечатление расставания с одним миром и входления в мир иной; такого рода обращение всех ценностей может быть воспринято в качестве вступления в царство предельной тирании". Столь мощное существо, совпадающее с этими словами, появилось у нас лишь после вступления в зону, подвластную НКВД, ибо до того мы продолжали оставаться в неслишком изменившемся окружении и в родной стране. Кроме того, большинство узников нашего этапа никогда не бывало в тюрьме, потому чисто тюремные впечатления смешивались у нас всех с возможным так называемой классовой справедливостью. День и без того был достаточно унылым, и наверное поэтому, входя под суды НКВД, я промычал сину стрыжечку народной песни с гуцульском атамане: "Заксвала зазуленька з вершечка на вишни, тай поклады Иваненька в креминары вични!"^{X)} Но правде говоря, все мы были заранее настроены против этого учреждения, а я, верно,

X) "Прокуковала кукушечка с вершины вишни и положили Иванка в вечном укрытии". - в оригинале написано по-гуцульски.

был предубежденнее прочих, так как издавна меня поражало и возмущало, особенно, когда приходилось беседовать с настроенными прокоммунистически, как это мыслимо ради целей, пусть не очень отчетливых, но все же считающихся возвышенными, прибегать к средствам, столь жестским и столь отвратительным, особенно в масштабах массового уничтожения. С самого начала деятельности означенного учреждения в силу непосредственного соседства России с Польшей и по причине неоднократного фактического охлаждения взаимоотношений двух стран в 1919-1922 гг..., уже хотя бы из-за воен., обменов военнопленными, реэмигрантами и т.д., различные ~~широкие~~ вести и воспоминания с НКВД проносились мощным и ужающим эхом через нашу страну.

Известно было также немало с всех фазах ее развития, начиная от ЧК, ГПУ и т.д.. И в более поздние времена еще очень долго сотни тысяч беглецов из России прошли через Польшу: среди них были поляки, русские, украинцы, русские евреи и кавказцы. Иногда бежали к нам даже большевистские комиссари. В свое время рассказы, вести, слухи, даже анекдоты, особенно о ЧК, но и о ГПУ, воспринимались с той же живостью и были на службе в народе, подобно тому, как еще совсем недавно ходили разговоры о гестапо. Даже те, которые были склонны смягчать подобные известия, считая, что они преувеличены и односторонни, вели себя робко и осторожно, так как источники информации были многочисленными и заслуживающими доверия. В конечном счете даже там, где о России знали мало, как, например, в провинциях западной Польши, достаточно распространенным стали такие выражения, как "Обернись к стенке", "Ликвидировать", "Израсходовать" ^{х)}.

Запад знал обо всем этом еще меньше, да и прежде всего ощущал все это куда слабее. Поэтому даже официальное сообщение ГПУ о масштабах ликвидации контрреволюции, воспроизведенное в швейцарской газете где-то около 1936 года, в котором говорилось о более чем миллиардах жертв, не вызвало слишком сильного впечатления. "Это - неслыханно, но происходит это далеко и нас не касается" - так примерно восприняла новость общественность в Швейцарии. Лишь процессы в Москве, следовавшие один за другим, заставили Запад содрогнуться. Сперва верили, что лихорад-

^{х)} в оригинале по-русски.

ка террора вот-вот пойдет на убыль, и потом, видимо, думали, что террору подвергаются, скорее всего, реакционные элементы, которые некогда тоже лишились насилие.

В Польше было по-другому, — коммунисты оставались в ничтожном меньшинстве и, как с том известно любому, социалистические и крестьянские партии издавна, по крайней мере, с 1920 г., противостояли компартии более упорно, чем партии буржуазные, а уж рабочие и крестьянские тем более. Никого особенно не волновала участь Троцкого, Зиновьева или Радека, может быть, лишь Еухарин, да и то не у всех, вызывал какую-то симпатию. Но со временем, лет эдак через пятнадцать, что касается осведомленности внутри Польши, то, после герметического закупоривания границы с обеих сторон, дохлившие из России известия были все более скучными, все более устаревшими и, в лучшем случае, сбывательскими. В бульварной печати продолжали толковать о сенсациях десятилетней давности, а позже донедавние сведения о голоде на Украине, о советских погромах украинской интеллигенции (в том числе — коммунистической), которые распространялись через посредников — украинцев, не слишком интересовали нашу публику; честно говоря — на этот раз и в этом смысле уже где-то в районе Варшавы начинался бесчувственный Запад. "Это где-то далеко, это нас не касается. Здесь это не может произойти".

В то же время английская пресса вообще хорошо информировала, особенно о крупномасштабной индустриализации России, а также об ужасающем разрастании объемов принудительного труда. Таким образом, в конце концов, во время трений с Германией и начала войны, большая часть нашей публики перестала вспоминать с русских жестокостях и с терроре в России, а, может быть, даже и перестала верить, что когда-либо случалось нечто подобное. Успокаивающее впечатление производила прежде всего жертвенная и хорошо вооруженная советская армия. "Где армия, там не может быть терроров, о том нам хорошо известно", — таким, более-менее, образом можно было бы выразить это мироощущение общества.

Как бы то ни было, что проявилось и в нашем случае, после того, как мы, не испытывая от этого ссобого удовольствия, оказались во власти НКВД, нутрудно было заметить, что эта организация, какой она представилась нам, пережила многое перемены, ре-

форм, наверняка также и чисток. Явственно было непреклонное, может быть, даже радикальное стремление к цели, которая и была несомненно достигнута: эта цель заключалась в абсолютной независимости НКВД от партии, то есть от действительных на текущий момент "линий" партии, причем недопустимы были какие-либо эквики, и, конечно же, "ненужные" жестокости, играющие роль своеобразного личного приза или находящейся в частном владении концессии, присуждающихся в порядке вознаграждения за преданность, самозабвение в труде и постоянную готовность, то есть за качества, характерные для подобных организаций. Как доводилось потом слышать, — но мы, правда, ничего подобного не видали, — даже жестокость подвергалась умелому радиоформированию, что достигалось посредством отдачи соответствующих распоряжений, имевших своей целью достижение эффективности и пользы. Говоря вообще — уже сама торопливость персонала, выражавшаяся, скажем, в подгоняющем покрикивании "скорей, скорей, давай, давай!", раздававшемся и тогда, когда дело, как казалось, терпелось, как и заметная зачастую усталость функционеров, свидетельствовали о дисциплине и темпах.

И еще одно замечание приходит мне здесь на ум. Рассказывали, писали, нашептывали, словом — распространяли сведения о засилье в НКВД евреев: чуть ли не из одних евреев состояли органы. Может быть, и правда в начале становления этой организации для евреев действительно была высока, а может, и в более поздние времена их хватало на постах повыше, доступа к которым у нас не было. Называли также немало польских фамилий, принадлежавших, якобы, большим начальникам, рассказывали также о латышах, китайцах и т.д., как о "гвардии" Чека. Но что касается евреев, то в Станиславе я не встретил ни одного: ни среди функционеров, ни среди членов коллегии, пред которой мы, в конечном счете, представили. (Был, правда, один человек в гражданском, сдважды ночью проверявший камеры вместе с охранником). Почти о том же рассказывали позднее узники, побывавшие во Львове. Поэтому думается, что я должен сообщить с своим личным впечатлением, а здесь я говорю, в основном, о Станиславе, где все учреждение НКВД было абсолютно русским, даже бланки, шапка на которых напоминала об "украинской социалистической радянской республике"^Х, заполнялись по-русски, да и все делопроизводст-

во велось на русском языке.

Никто не спешил заняться нами. Наконец, словно преодолевая неприязнь или неторопливость, привели нас всех, толпу заключенных человек этак в 66, если не ошибаюсь, в какой-то пустой зал. Я хорошо запомнил его, потому что был тогда очень измучен, но, несмотря на усталость, мне пришлось там очень долго стоять, сидя вместе с другими решения своей участки. После достаточно длительного проволочек и ожидания, наши конвойные во главе с крикливым сержантом, к которому, наконец, вернулся мальчишеское выражение лица, пребывая в спокойном и дружелюбном расположении духа, занялись делопроизводством, передавая друг другу наши бумаги, сваленные прямо на полу, потому что стола в помещении не было. Такая куча бумаг! Да кому захочется, — да и кто бы смог даже при желании, — привести все эти документы в порядок?! Тем более, что эта тюрьма была весьма вместительной. Разве можно исключить перспективу вынесения приговора, который в силу необходимости будет отличаться произвольностью и обсценной безликостью? После долгого ожидания нас сняли повели по коридору. По пути нам попалось несколько заключенных, которых куда-то вели схраники, видимо, на допрос. Узники были небриты, не причесаны, грязны и уже лишины индивидуальности, а все схраники, что мне сразу бросилось в глаза, были тщательно выбриты и старательно одеты. До сих пор мне вспоминается интересная деталь: я впервые заметил, что при встрече с нашей шеренгой конвоиры приказывали сдвинутым заключенным становиться лицом к стене, стдавая шепотом распоряжение "Обернися к стенке"^x). Esta практика, как я в том убедился позднее, была достаточно сбыденной и имела своей целью предотвращение взаимознавания или обмена знаками между встречающимися в коридоре конвоируемыми заключенными. Но для всех нас сами эти слова ассоциировались с чем-то давно известным и много худшим. В многочисленных рассказах, которые, кажется, всем нам доводилось слышать, утверждалось, что сбранных на расстрел ставили перед казнью лицом к стене. Сведения об этом были настолько распространены, что один из встретившихся позже товарищей по заключению, который, к тому же, был коммунистом,

^x) В тексте оригинала — по-русски.

рассказывал сразу же после того, как его привели в нашу камеру, что, когда его вели по коридору и стражник буркнул: "обернись к стенке", он был уверен, что его сейчас расстреляют. Так вот, между делом мы узнавали, что и знатные органы НКВД тоже отбрасывают тени разных оттенков, как, впрочем, всё в этой жизни.

В конце концов, нас ставили не в камеру и ни в какую-нибудь столовую, как мы ожидали, но в тюремную часовню, и не на молитву, но для обыска. Оиск продолжался с перебоями с десяти утра до полдевятого вечера. Изначально, каждого раздевали догола, позже, под вечер, обхождение стало либеральнее. От усталости мы довольно-таки скоро расселись на полу часовни, опираясь спинами на стену, чтобы хоть немного расслабиться и отдохнуть. Так мы и провели весь день - полусидя, искулечка. (...).

Итак, у нас появилось достаточно времени, чтобы осмотреться и, по крайней мере, другого случая у нас не было. Здешние функционеры были явис профессионалами, - не какие-то там пограничники. По сравнению с встречающимися позднее в коридоре охранниками, они казались солидными и представительными. Ни то солдаты, ни то полицейские, а по сути дела - как то, так и другое, да еще и при случае - пропагандисты. Были спокойны, поначалу педантичны, правда, потом заметна становилась усталость - как-никак, не немцы. Иногда они повысили голос, но покрикивали все-таки очень редко, всем говорили "ты", считая, похоже, всех нас однородной серой массой, отдельные представители которой, конечно, всего лишь кандидаты на потерю личности и растворение в гомогенной тюремной анонимности. НКВДисты не выказывали ни интереса, ни жестокости, ни грубости, напротив - они были ровными и терпеливыми, ибо такова была их задача. За весь день, вплоть до самого вечера, сии никому не позволили выйти из часовни, за исключением трех человек, которые, исхсые, очень на том настаивали. Кстати, никому за весь день не дали ни есть, ни пить, потому что мы, как новоприбывшие, еще не стояли на учете. По ходу обыска, конфискации подвергались странные предметы, в том числе бритвенные приборы, а также жестяные или металлические банки и стеклянные зеркала, которые скрепа бросала на пол, стараясь разбить их на мелкие осколки, как бы демонстрируя показная, что никто здесь не собирается присваивать имущество заключенных. Это были самые резкие звуки, которые были

смыши в глухой часовне. Сотрудники же НКВД, непрерывно занятые, совсем, кстати, не препятствовали нам вполголоса разговаривать друг с другом, сохранив то же спокойствие, безличность, лишенную уныния, и неторопливость. В соответствии со старинным русским принципом: "Тише едешь - дальше будешь" ^{х)}. В чем можно было усмотреть жестокость? Разве что в самом учреждении, в его безграничной власти.

Безстеснительно к тому, что можно испытывать те или иные чувства, наверное, читатель не рассчитывает на мои сожаления по поводу осквернения часовни организованным в ее стенах сбыском арестованных. Эти молодые солдаты, клеточки огромного полноправного организма, который, к тому же, выполняет и педагогические функции, наверное, лишь бы пожали плечами в ответ на подобные претензии. Подобным образом реагировали бы и руководители НКВД, которые обнаружили часовню в польской тюрьме и избрали для нее то назначение, для которого она, по их мнению, годилась. Любопытно, что бы изобразил из себя, представ перед НКВД, некто, способный вспомнить в подобных обстоятельствах Гельдерлина, как-то сказавшего про "Поколение без Бога, обреченное лишь на бесплодные труды, подобно фуриям". (...).

День был очень сонный, скучный, мучительный, перед глазами - бескисечные сбыски, а надо всем этим - утомленный виденным и скучающий Иисус на кресте. Некоторое время спустя мы уже были сбиты всем этим по горло. Опершись спиной на стену, я пытался задремать, но это не выходило, несмотря на усталость от бессонной ночи. Напротив, - подобно пламени в лампе, в которой кончается керосин, мысли вновь разгорелись в разгоряченном мозгу. (...).

Единственным событием, внешне обогатившим разнообразие этого дня, стала беседа НКВДистов во время проверки какого-то польского инженера, который уверенно, свободно, даже весело утверждал, что нет никаких оснований для того, чтобы держать его в заключении. Я не слышал его аргументов, но помню, что у него был польский заграничный паспорт с законной советской визой, и он доказывал, что был на Кавказе в качестве какого-то специалиста. Не знаю, откуда уж он среди нас взялся. Разве что присоединили его к нам, оторвав от какой-либо иной группы зак-

^{х)} в тексте оригинала - по-русски.

личенных, как-никак, раньше я его не видел. Уже утомившиеся, скучающие функционеры, как бы одуревшие к тому времени, тут же оживились, - впервые за все время. Сразу же стали обращаться к нему на "вы", словно бы он один здесь превратился в личность, и спрашивали друг за другом, что он делал "у нас, в Советском Союзе"^x)? Он им что-то объяснял такое специальное, а один из сотрудников НКВД шутливо ответил на обращенный к инженеру вопрос: "Как, что делал? Шпионил!". Всё это возбудило веселье, но раздевали его точно так, как и прочих, и наверняка, его вечером тоже отправили в камеру. Как и многих иных, позже я потерял его из виду навсегда, как, впрочем, и своих соузников из Надворного, не считая, может быть, лишь одного весельчака-шоффера, который позднее попадался в коридоре тюрьмы вслед водопроводных труб. (...).

Обыск окончился. Первым облегчением стала возможность хоть куда-то выйти за целый день. Функционер, сопровождавший нас до камеры № 32, заметил нашу усталость, так как, открывая камеру, он сказал сочувственно: "Ну, отдыхайте, товарищи"^x). Новая польская тюрьма была - "современной", с центральным отоплением и очень хорошим теплым туалетом в углу, за жестяным занавесом, а также с неплохой вентиляцией. Камера была холодной и чистой, хоть, может быть, и не слишком просторной, в ней помещалось пять кроватей и ее хватало как раз на пятерых.

Мы были первыми штатскими в камере. Там уже было несколько польских полицейских, сидевших здесь со дня вторжения русских. Они по приказу командования были эвакуированы с запада Польши аж в Станислав, стрываясь тем самым от своей родни и от родных краев. А как они, сдержанно, но с явным разочарованием, жаловались на то, что их не у эвакуировали в Венгрию, как сильных, но приказали по телефону зарегистрироваться у советских властей. Полицейские дисциплинированно исполнили приказ своего управления. Как рассказывал старший из них, советский артиллерийский офицер, к которому они явились для регистрации, с удивлением рассматривал их и сам, разводившись, но с оптимизмом и симпатией утешал их: "Не расстраивайтесь, полицейские! Ничего!"^x). Сначала поработаете, а потом заживете как все". (...).

^x) В оригинале текст напечатан по-русски (лат.буквами). Прим.пер.